

Мне очень совестно, что я хочу вторично занять внимание нашего собрания на 20 минут. Я это делаю для того, чтобы обратить внимание духовных особ и мирян на некоторые такие стороны седьмого таинства, которые никогда не подвергались обсуждению.

Переберем его аксиомы. Брак есть «таинство церкви». Мир склонил перед этим голову. Таинство это выражается через венчание. Миряне не оспаривают. Венчание «греховный плотский союз очищает, освящает». Приняли и это. Итак, венчание как бы разделило грязные воды «блуда» от чистых вод брака и сотворило, по Апостолу, «брак честен, и ложе не скверно». «Да! да! — скажут духовные, — так именно мы и учили мир, к этому миряне уже приучены». И вот отчего с таким крайним напором все ищут венчания, страшатся вступить без него в связь. Ибо кто же захочет понести на себе укор «блуда», первый оттенок желтого билета, начальную полосу этого позорного спектра?

Но такова ли и внутренняя мысль церкви, как это внешнее и громогласное высказывание ее, по которому учился мир? Увы, очистительная после рождения младенца молитва читается в тех самых терминах, без малейшей перемены слов, в браке после венчания, как и в блуде до венчания. Воды чистые и нечистые — сливаются. Оказывается, венчание ничего не «преобразило» из темного в светлое, ничего не «очистило». И «брак скверен», и «ложе нечисто» — в церковь благословенном сожитии, как и в неблагословенном.

Каково же благословение? Мы говорим уже не о действенной его силе, которая по разуму самой церкви, в приведенном факте выраженом, не действительна, а об искренности. Издали, на глазах народа, в пышном обряде, при зажженных пуках свечей, словом, когда все ярко, видно, свет бьет в окна, стоит на улице день, глаголются добрые слова без всякого укора, и ведь в силу-то их к «доброму пастырю» и набежал народ благословиться на «брак честен, ложе не скверно». Но вот исполнилось благословение. Ночь. Уединенная комната. Через запертые ставни не пробивается и лунного луча. Нет гостей, и вообще нет свидетелей, свидетельствования. На постели лежит утружденная, исстрадавшаяся, а вместе и несказанно обрадованная первым сыном женщина. Она до того погружена в себя и так слаба еще от болезни, что видит только зрительно, что вошел священник, и радуется, восхищается этому, что видит церковь другом себе в такую минуту. И муж, также в страшном волнении, озабоченный здоровьем жены, тоже все лишь зрительно видит и, конечно, не вникает в смысл произносимых слов. В этом полном уединении и в сущности никем не выслушиваемый, священник, конечно, скажет ту внутреннюю мысль церкви, так сказать, свободную, не стесненную присутствием зрителей, настоящую, подлинную; скажет вдохновение церкви в отличие от утилитарно-приличных слов, наружу прозвучавших в венчании. Вот они: «прости ей, Господи, днесь родившей, грех ее, понеже вси мы есмы сквернавы перед Тобою».

Ложе было и в этом законном браке «скверно», «греховная плотская связь», как она стояла до венчания, так и осталась. Венчание ничего не переменяло. Оно именно есть утилитарная вещь; я думаю, чтобы миру не было страшно. «Как же ты, мать святая церковь, смотришь на рождение?» Она отвечает: «на семью, на брак? Сорадуюсь им, и вот в свидетельство этого я благословляю их». Это именно отвождение страха в сторону. Но вот он отведен; мир радуется; играет, «плодится, множится». «Все это — грех», — произносит церковь безмолвно, неслышно, шепотом.

Я заметил в первом докладе нашему собранию, что венчание стоит одиноко и отрезано в церковном строе; это как «коховская палочка», капсулировавшаяся в заболевших было, но выздоровевших легких. Она есть, и она болезнетворна, смертоносна для существа легких, но она капсулировалась, т. е. со всех сторон окружилась непроницаемою тканью. Так и венчание: полейся его тоны, мистические и несколько страстные, по задачам плотского союза в музыку церковную, в живопись церковную, и церковь вся начала бы преобразаться.

Ну скажите, что черные лики, старческие, изможденные, смотрящие из киотов храма, могут сказать собою или от себя самим венчающимся? Ведь только от того, что никто из венчающихся, радостно в себя погруженных, и никто из празднично настроенных гостей не оглядывается кругом и не вглядывается в церковные лики, — только от этого невнимания никто не замечает, до чего странная и чуждая толпа вошла в храм с чуждыми храму мыслями, чувствами; до чего она самому храму не нужна и, по правде сказать, враждебна. И вот они вышли. Остался священник один. «Наше место чисто! Слава Богу!» — мог бы он облегченно вздохнуть, кладя земной и почти извиняющийся за минутное осквернение храма поклон перед темными и суровыми ликами, как бы чуть-чуть погрязневшими даже за минуту венчания.

Несоответствие храма и венчающихся в нем — поразительно. Это как рой пчел, залетевший в комнату. Остаются они здесь, задержись: или они пережалят людей, или люди передавят их. Сделаем опыт, секундный, страдальческий, мысленный, но окончательно решающий вопрос о чистосердечии благословения на брак: ну, задержись в храме пчелиный рой новобрачных не на час, а на неделю, не для сухонького и внешнего выслушивания слов о чадородии, а также и для выполнения заповеди об этом, ссылаясь, цепляясь за слова: «брак честен, ложе не скверно», — и вдруг пелена фата-морганы спала бы с глаз мира. В храме православном, христианском... поцелуй, объятия, ласки! раскрытые перси, горячие руки!! и дальше больше — самое забеременение!!! Я делаю страдальческий опыт. Он нужен. Он учит нас, что, по воззрению церковному, мы «все незаконнорожденные, все в браке — блуд». Храм после нескольких суток, проведенных в нем счастливыми Ромео и Юлией, Лизою Калитиной и Лаврецким, молодым посвященным священником и его матушкой, пришлось бы вторично освятить, так он неслыханно, невыразимо осквернен, оскорблен, искажен, до основания метафизически разрушен... счастливыми минутами новобрачных, казалось бы, невинными и благословленными (в венчании!).

Вот уж когда «разодралась бы завеса церковная», не в материи ее, а во всем целом смысле храма, как таинственным образом в секунду Голгофы «разодралась от основания до верха завеса» в ветхозаветном храме! Скажут лукаво: «это не грех, а только не своевременен и не своеместен». Нет, вот школы в церкви есть; есть парты, ученики, множество даже шалостей ученических, хотя учение не есть «таинство церкви». А ведь «брак — таинство церкви»; этим обнадежен мир. Да, но вот превращение части храма в класс — не оскверняет, не разрушает его, а подлинное превращение храма, не в чтении и слушании, а самым делом, плотию и кровию, в «Кану Галилейскую» покачнет «камень Петров» от земли до неба. Заметим насчет Каны Галилейской, что у евреев брак всегда совершался на дому и именно в покоях дома, окружавших «хуппу», отдельный переносный шатер, где новобрачные оставались наедине для исполнения заповеди чадородия. Оттого Спаситель их и не видит в евангельском рассказе, что их среди гостей уже не было. Вот такая-то «хуппа», бывшая в Галилее, не противоречившая Ветхому Завету, завету обрезания, она, как часть храма (раз уже бракосочетание происходит у

на дому, а в храме), совершенно несовместима с заветом крещения и невообразима в церкви нашей. Послушайте: около «хуппы» — и цветы; вокруг нее — гости, пиршественный стол и самое вино, как в Кане Галилейской. И все это — в храме!! Священники зачитают хором: «Да воскреснет Бог», — эту молитву ограждения от «нечистой силы».

Брак есть в церкви только вербально, а в самой вещи его нет и быть не может, пока строй сущей церкви целостен.

Отношение к браку неискренно; начать к нему искренно относиться — значит для церкви начать преображаться (иная живопись, новая музыка, цветы, в храме растущие, земляца на полу его и проч.).

Благословение брачующимся произносится губами, а не сердцем. Из сердца должен будет вырваться новый вопль, потрясающий стены, необыкновенный, страшный: до того все бывшее в церкви христианской абсолютно, как бы и до «того света», несовместимо с храмом, таинственно-брачным, если бы в него, ну хоть под напором начавшейся критики, вдруг начала преображаться живопись и музыка теперешнего православного храма!

Ну вот проф. Налимов мудро начал говорить о влюблении юных — этом главном чувстве, без которого брак не начинается, не заключается, не должен бы заключаться. Введите, однако, этот прекрасный и должный момент в музыку венчания взамен грубого, а главное сухого, как пропись, дьяконского возгласа: «Жена да убоится своего мужа»; польются звуки мистической любви, слова заговорят о звездах, о цветах, о томлених влюбления, о лунной ночи и томительных ожиданиях, о завтрашних объятиях и поцелуях. Ну, пусть проф. Налимов скажет: разве это можно бы ввести в венчание, а такое венчание совершить в нашей церкви?

А между тем слова проф. Налимова звучали хорошо. Никто их не находил неблагородными, что-либо уничижающими, марающими. Да, но церковь они замарали бы. Тут несовместимость категорий, тут расхождение категорий. Ведь в венчании ничего брачного нет: сухонькие слова, маленькое нравоучение, аллегорические формулы и никакого к браку не имеющие отношения жесты и движения. Ну, поменялись кольцами. Что это выражает? Ничего или что-то смутное. Обошли вокруг аналоя. Это что выражает? Обошли или не обошли — это не есть ни да, ни нет в отношении к браку. Пронесли короны над головами — значит радостно; но почему это специально брачная радость? Просто — радость вообще. Приложились ко кресту — это всегда бывает после обедни. Но вообразите, что брак совершился бы, как в Галилее, на дому и только при родных, и что при словах о чадородии совершалось бы священником помазание елеем персей новобрачных с молитвой о благополучном и благодатном питании будущих детей. Но это уже так же невозможно ввести в теперешний обряд и внести в теперешний наш храм, как и рассуждение о. Налимова о влюблении как прекрасном и необходимом моменте брака. Обнаженные перси девы-невесты? Священник, кладущий на них знамение креста священным миром, которым помазуются лоб верующих? Да и не одни перси, а и чрево, лоно, все, что «по образу и подобию своему сотворил Господь нам»?!! Перед аналоем, крестом, Евангелием и ликами усопших архиереев, постников, пустынников, мучеников за веру, глядящих со стены алтарной?! — Невозможно! непредставимо!! Дева нагая или полунагая, влюбленная и любимая — и перед нею старый священник с кисточкою и миром?! «С нами крестная сила!» Он помнит, он учил и заучил, что именно это всегда являлось как дьявольское наваждение — искушать пустынников, святых, страстотерпцев, теперь — его! «С нами крестная сила!» — и он, не докончив обряда или «таинства», выбежал бы вон из храма, смущенный, испуганный, трясущийся; но незаметным глазком души продолжая глядеть или вспоминать открывшееся ему сладкое зрелище — соблазн? истина? Кто разрешит это? хотя и можно бы вспомнить, что в Апокалипсисе говорится о невесте Богу, а во всем Ветхом Завете Бог клянется Израилю, как Супруг его?! Но ведь именно все эти слова церковь обошла мимо, зажав уши, зажмурив глаза, не постигая, отказываясь вдуматься.

Ни влюбления, ни персей, ни питания детей в браке христианском не содержится. Ничего не содержится, кроме хора певчих, дьяконской октавы, священнического тенора; но это не оригинально и не исключительно для брака, это — в каждой литургии, молебне. Вообще венчание прямого отношения к браку не имеет, органической с ним связи не имеет. Бацилла капсулирована. Разружьте капсулу — легкие умрут. Чтобы жили легкие, не давайте жить бацилле. Вот отношение брака и Церкви.

Но зло ли брак в его влюблении, в его персях, питании младенцев, страдальчестве рождающих? Простите, слушатели, но сердце мое волнуется, едва я перечисляю рубрики и трудов, и радостей семейных. Для меня нет ничего их выше и ничего их глубже. И нет более твердой стези к Богу, как эти труды и радости. И вы, следя за моей речью, входя в мои сочувствия, сочувствуете им: что я знаю, почтенные слушатели, хоть и не вижу вас. Так добр род человеческий, что всякое благо одного радует и всех. «И мы с тобой» — вот возглас простого человека. Добрый возглас! Им живет мир. Да, но церковь не с нами — и вот тут начинается ужасная боль, вторичное начинается «раздранье завесы», уже сердечной, а не церковной. А ведь сердце наше есть тоже храм; это не польный, пустой мускул. И его завесы, право, стоят виссонных завес в царских дверях.

Не буду рассуждать, а стану приводить факты. В книге Сергеенко «Как живет и работает гр. Толстой» рассказан следующий случай. «В августе 1896 г. в Ясной Поляне произошло трагическое событие: кучер нашел в пруду мертвого ребенка. Вся семья Толстых была очень потрясена этим событием. Особенно удручалась одна из дочерей Льва Николаевича, будучи почти убеждена, что мертвый ребенок принадлежит косой вдове, скрывавшей свою беременность. Но вдова упорно отрицала взводимое на нее обвинение и клялась, что она невинна. Начали возникать подозрения на других. Перед обедом Лев Николаевич отправился в парк, чтобы пройтись немного, но вернулся не скоро, причем вид у него был усталый и взволнованный. Он был на деревне у косой вдовы. Не убеждая ее ни в чем, он только внимательно выслушал ее и сказал: «Если это убийство дело не твоих рук, то оно и страданий тебе не принесет. Если же это сделала ты, то тебе должно быть очень тяжело теперь: так тяжело, что более тяжелого для тебя не может быть в этой жизни».

«Ох, как тяжело мне теперь: будто кто камнем сердце надавил!» — воскликнула, зарыдав, вдова, и чистосердечно призналась Льву Николаевичу, как она задушила своего ребенка и как бросила его в воду.

Оттого он и был так задумчив» (Сергеенко, цитированная книга).

Тут, господа, миллион вопросов. Разберемся в пяти-шести. Прежде всего, я думаю, Льву Николаевичу, да и его прекрасной дочери, затревожившейся о косой бабе, многие грехи, и даже церковные, простятся за этот вечер, молчаливое направление шагов к бабе и за этот изумительный по глубине вопрос ей. Поистине, нужно было в огромное сердце писателя переложить сердчишко бабы; чтобы подслушать так его трепет. Это — один вопрос. Другой: ну, почему бы так не поступить священнику? Но таких рассказов о священниках не

рассказано, ни об одном, ни о каких долгих веках, а в «задумчивости Льва Николаевича», я думаю, и промелькнул этот же вопрос, среди серии, среди миллиона других: «Да почему же не они, а вот моя дочь, барышня неопытная тревожится? Ей больно, мне больно: — только священнику не больно». Уверен, что печальнейший эпизод расхождения Толстого с церковью имеет мотивом в себе вот такие безмолвные и многочисленные наблюдения, что очень как-то неболящие нервы у духовенства; мимо всего-то они проходят холодно. Теперь оставляю эту рубрику вопросов Толстого и перехожу к собственным. Хорошо проф. Налимов говорил о влюблении. Великий, он говорил, факт, мировой факт, где-то в звездах завитый, оттуда сходящий на землю. Но представьте, что испытать мировое это чувство влекутся все, текущие от Евы, «яко та есть мать жизни»; и все же покорны слову Божию, сотворяющему, переделывающему по-Своему человека: «и к мужу влечение твое (женщины), и он будет господствовать над тобой». Сейчас эти слова церковь объясняет как относящиеся только к законному мужу и после венчания; но ведь тогда Бог бы сказал Еве: «Вот, Ева, — ты согрешила; и когда через пять тысяч лет будет венчание, тогда законные жены будут иметь влечение к законным мужьям, а законные мужья будут над ними господствовать». Вообще, господа богословы вечно как бы укоряют Бога в неточности слов, ибо подставляют взамен натурального смысла их какой-то невероятный, и это без всякой оговорки, без смущения и грусти. Точно Бога нет, а они одни в пустом мире за Него разговаривают. Ясно, что Бог сказал о существе твари женской в отношении мужской, а не о православных законных женах. И вот эта косяя солдатка только оказалась бессильна против воли Божией, хотя, гипнотизированная стыдом перед рождением, долго-долго, верно, ей противилась. Но слово Божие мимо не идет и клонит дубы, а не то что трость. Прав о. Налимов, а к мысли его о всемирном влюблении я прибавлю свою скорбь о косом глазе вдовы. Ну что ей было делать с косым глазом? Никому она не нравилась, и годы ее, верно, были не молодые, и при словах: «Возьми меня невестою», — верно, всякий бы засмеялся. Но, господа, но, христиане, тут ее бедность, и неужели у бедного мы снимем и последнюю рубаху? Богатства ей никто не дал, и никто бы ради ее потребности в любви не принял бы на себя тяжеловесных и длительных обязательств. «Тогда воздержись», — скажет о. Дернов. И воздержалась бы, но Божий глагол: «И он (мужчина) будет господствовать над тобой», — давит на нее сильнее о. Дернова. Вот где коллизия, что Дернова требование встало в упор против Господнего и Господне одолело. А я приведу и пример: можно ли сказать, что Моисей вписывал в книги свои рассказы так себе, какие попадутся, а не такие, которые служат каждый раскрытием огромной мировой истины? Богословы наши ведь совершенно отвергают боговдохновенность всего Ветхого Завета, признавая его тоже, как и брак, только концами губок, а не бурей сердца. И так для чего, для какой надобности Моисей включил в книгу Бытия рассказ об уединении Лота, отсутствии людей кругом его жилища и печальном слове дочерей его — одной к другой: «Нам уже не от кого зачать детей по обычаю всей земли». В еврейском тексте звучит выразительней: «По закону всей земли». И вот, как сомнамбула через страшную пропасть идет по узенькой дощечке, чтобы совершить что-то, указанное ей луною и каким-то «тем светом», для нас закрытым — ей открытым, так две дочери Лота одна за другой приходят к чудовищному поступку, чтобы исполнить «закон земли», а в сущности — еще в раю данную заповедь Адаму и в нем всему роду человеческому. Но слушайте дальше рассказ Моисея, и вы извлечете урок для нашего времени: одна за другую дочери объявляют громко, от кого они зачали. Какой урок, какое предвидение грядущих судеб! Да ведь начать сокрывать, от кого и как произошло зачатие, — значит прямо ступить на первую ступеньку той лестницы, последняя ступень которой, наверное, обгадится детской кровью.

Теперь возвращаюсь к случаю Толстого. Он совершенно аналогичен рассказанному мною прошлый раз эпизоду с Повало-Швейковским. Там расторгнуто уже бывшее; здесь есть попытка помешать неодолимому. В обоих случаях идет борьба против рождения, *post factum* и *ante factum*. В сущности одно и то же в обоих случаях; только там дело дошло до государя и митрополита, а здесь выразилось обыкновеннее, но зато как повседневно и повсюду: именно что вот барышня Толстая и он сам, еретик, смутились в сердце своем, заволновались, а местный приходский священник остался на месте. Священнику всего менее есть дела до рождения — вот коренной факт, который я здесь всесторонне выясняю, хотя, вот видите ли, «брак есть» специальное их «таинство». Теперь я анализ продолжу вперед. Около имения Толстого или где в другом месте совершилось такое же, как пишет Сергеенко, «потрясающее событие»: в дровяном сарае, в пруду, на чердаке, на улице в морозный день нашли мертвого ребенка. Книгу Сергеенко, вероятно, множество духовных лиц прочли, и вот я задумался над рассказанным фактом, а они — едва ли. Их все смущает, видите ли, — «не шундист ли Толстой?». Это, конечно, «язва в пяту церкви», а мертвый ребенок оказался «язвой в пяту Толстого», а для церкви — это даже и не заноза; не заноза в бытии христианского мира, шундизмом колеблемого, а детоубийством не колеблемого. Тут-то и пункт моих размышлений: в определении степеней важного и малозначительного, болящего в сердце и едва щекочущего. Итак, найден мертвый ребенок в каком-нибудь приходе, ну, напр., одного из здесь присутствующих священников. Может быть, на будущий год другой труп будет найден. Может быть и даже вероятно. Приведенный в смятение, как Толстой или его дочь, священник, верховодитель брака и всех его составных частей, не должен ли был бы войти на кафедру церковную и вместо обычного поучения, что по воскресеньям надо ходить в церковь, а в посты не употреблять молока, сказал бы: «что вы так мятетесь, дочери Евы? Стыдно, грех, упрекаю вас, обязан по должности, но вот слушайте. Слушайте, члены собрания. Стыд этот и грех гораздо легче, чем вы ощущаете, это стыд и грех только по щиколотки, ну по пояс, но не по горло, не до макушки, чтобы залить водой младенца, удавить его. Постыдившись маленько, придите ко мне на исповедь, отпущу я такой грех, а она пусть себе растит ребеночка на радость людям и во славу Божию. А вы, родители, которые станете мучить дочерей своих до глубины детоубийства, — тем я причастия не дам. Ибо отрекаться от дитяти своего в несчастии (девушка — роженица) — это хуже каинова окаянства».

Я боюсь, что слушатели недостаточно уловили суть моей мысли. Теперь стыд рождения вне венчания доходит до горла, до удушения детей. Так, это все знают. Теперь, чтобы дети не убивались, надо этот стыд понизить, разъяснить, оговорить, сделать ссылки на Лота и на слова: «Муж будет господствовать над тобою», надо надеть узду (скажу жесткое слово) на бесчеловечных родителей, выгоняющих таких дочерей прямо на улицу, на мороз, без хлеба, помощи. Позвольте — вот аналогия. За стенами нашего собрания стоит человек, и мы наверное знаем, что он удавится, если мы не покончим наше собрание в 11 вместо 12 часов. Так мы непременно все выбежим отсюда в 11 часов, дабы предупредить совершенно бессмысленное и нас нимало не касающееся, однако же роковое для жизни маньяка его решение. «Кровь его да не будет на руках наших», — возопим мы и разбежимся, радуясь, что спасли жизнь человеку, хоть и прервали интересные прения. Совершенно в подобном положении и церковь. Достаточно ей сказать:

— Стыдитесь меньше!

И детоубийства не будет. Но она все века говорила, хорошо зная, что дело уже и без того дошло до детоубийства: «Вы мало стыдитесь! вы — бесстыдницы! Стыдитесь больше!..» И этим тысячелетним напором мнения произвела детоубийства. Ведь есть коллективный гипноз, как есть и индивидуальный.

Стыд этот столь велик и неотразим и именно религиозен, а не политичен, что не было даже монарха, монархини, который объявил бы о

ребенке, вне венчания рожденном. А Моисей примером Лота указал: «Всегда надо это объявить». Церковь всего этого круга идей не сообразила. Она не приняла бездны слов о рождении в Св. Писании. Она помнит только власть, авторитет. Я сказал уже, что брак церковный, в отличие от мирового, от всемирной его концепции, — ни детей, ни супружества, ни любви, да и вообще ничего в себе не заключает; есть *fata morgana*, издали манящее обманчивое изображение, подобие. Полная мысль брака, конечно, заключает в себе сбережение всех детей и всего человеческого семени, о котором сказано, что оно «сотрет главу змия». Кстати, об истолковании Писания. «И семя жены сотрет главу змия» (Бытие. V). Слова эти ухитрились истолковать в мессианском смысле, в то же время оставляя догматом церкви учение, что Мессия родился от девы, *virgo puella* до, во время и после рождения. Опять поправка точных слов Божиих, будто Бог косноязычен и не сумел, ожидая корректур богословов, обозначить точно: «И вражду положу между тобою (змием) и Евою, и от семени ее изойдет Дева, которая сотрет главу тебе», или: «рожденный от Девы некогда сотрет главу тебе». Конечно, до грехопадения давший заповедь чадородия — изрек тот общий «закон земле», что чадородием будет «стираться глава змия», ибо с грехом пришла смертность на человека, но через рождение это новое его качество остается только личной бедностью, но сохраняется общее Адамово или всего рода человеческого бессмертие. Страдание мое — останется, но страдание нас исчезнет. И человечество, как *corpus universalis* [1 - единое целое (лат.)] — бессмертно и безгрешно. Болезнь при родах опять объясняется: женщина в секунду родов имеет в себе две жизни, удвоенную жизнь, как бы квадрат ее. «Уязвление в пяту» Евы змием и сказывается в родовых муках: дьявол как бы старается вырвать эту победу над ним, или, как в Апокалипсисе сказано: «Дракон пускает воду вслед жене». Болезнь есть отмщение дьявола за позор свой, поражение — и церковь, конечно, должна бы каждой роженице и каждому новорожденному воздать хвалу как моменту победы в вековой борьбе с дьяволом. Ведь не отвергает же церковь, что грех и дьявол принесли смерть именно, смертность; и что эта смертность человеческого рода встречает препятствие себе, да и прямо разрушение себя, в рождаемости. «Смерть, где твое жало?» — может воскликнуть роженица, поднимая на руках младенца и испуская дух сама. Рождение — свято, даже святейший на земле акт, как вечная победа над первородным грехом. И вот тут-то, в определении своего отношения к рождению, церковь и запуталась. Ей надо было всячески и безмерно поощрять рождение — в храмовой живописи, литургических песнопениях, в мудром законодательстве — роскошном, белом, с сосцами для питания не то что человеческих младенцев, но, кажется, всякой былинки. Ей бы ввести национальные праздники древонасаждений, цветополювов; ввести как абсолютную подробность брака не «обыск» и «метрики», а дачу юным бракосочетавшимся по паре домашних животных, в подмогу жизни и пример плодородия: как и животные естественно окружили Вифлеем, прообраз и мечту всякой молодой, идеальной семьи. С животными, около животных — всегда мягче люди. Если бы церковь, через несчастные семинарии и академии, через их схоластику, монашеский дух и книжность, не заперла на ключ от учеников своих первую заповедь человеку: верю я, что и без моих подсказываний и настояний юные священники отерли бы слезы рождающим девушкам, пугнули бы жестокость родителей их, прижали бы к груди младенцев их. Это — они, а не Гете рассказали бы судьбу Гретхен и Фауста. Они приняли бы на любящее лоно свое и косую вдову, о которой повествует Сергеевко, согрев ее, поцеловав ее братским целованием и прямо, как говорю я, помазав елеем перси ее для питания якобы «приблудного», а в сущности утроенно законного (трудность исполнения заповеди) и усиленно священного ребенка. Трудно (скорбно) было дочерям Лота; зато от двух (только) зачатий изведены были (Богом? конечно! — ибо происхождение-то племен уже, конечно, есть воля Божия) два отдельных и самостоятельных народа с историческою судьбой (амаликитяне и моавитяне). Трудно копание — хорош жемчуг. Не гневайтесь на настойчивость мою: право же, из двух крайностей больше правды в этой, чем в утопленном ребенке и ее грустных-грустных словах.

— «Ох, как тяжело мне. Будто кто камнем сердце надавил!»

Но философ может сказать больше, чем солдатка. Эта каменная тяжесть, если мы совестливы, — должна распределяться по всему христианскому миру и придавить каждое наше сердце щепоткой смертной земли. Да это и есть, хоть мы довольно бессовестны и похожи на наше собрание, которое и узнав, что в 12 часов за стеной его кто-то повесится, сказало бы: «Пусть вешается, а мы здесь интересно поговорим».

Христианские сердца суть меланхолические, и это Бог сыпает их смертную землю, раздробляя в нее камни единичных тоскливых детоубийств и целый горный хребет давнишнего, «дедовского», по «заветам старинки», массивного у нас детоубийства во всех его необозримых формах. Теперь, хотя мне и совестно утомлять вас еще на пять минут, прошу вас выслушать, как в самом христианстве, на почве верности именно его духу, начинаются вдруг колебания его самого.

Всем известна легенда, как в старом Новгороде один обыватель, соскучившись кормить старую слепую лошадь, выгнал ее на улицу; и как, думая найти клок соломы, она ухватилась зубами за веревку вечеревого колокола и дернула ее. Зазвонил колокол. Собрался народ. Увидел лошадь и пожалел ее и приговорил хозяина ее кормить ее за работу до смерти.

Теперь, слушатели и братья, забудем нашу залу, электрический свет, как бы зажмурим глаза и пойдем за голосом сердца по темной земле, прислушиваясь, что на ней делается. Вот входим в дом Повало-Швейковского, которому только что вышла бумага — расходиться с женой и пятью детьми. Приговор церкви, голос христианства; и даже со ссылкой на непосредственные слова Христа: «Кто не оставит мать, отца, детей ради Меня — несть Меня достоин». Текст, во всяком случае, также авторитетный, как и «любите друг друга»; а главное — уже бывший авторитетным для церкви две тысячи лет и которой было весьма трудно, имея его перед глазами, уцепиться за ноги гибнущих детей и начать их отстаивать с тем упорством, которое я рекомендовал, опираясь, конечно, на Ветхий, а не на Новый Завет. «Апостолы нам ваших тенденций не проповедовали; там — о вере, а — не о детях, женах и отцах. Христианство — безженно, бесплотно, бессемяно. Это — самая сущность его, что оно бессемяно! без этого не было бы новой эры, начала другого летосчисления: ибо новый Бог и другие идеалы. И там церковь, духовенству просто нет дела до вас, до Повало-Швейковского и косой вдовы; нам и которые были до нас, «отцам» нашей церкви, «учителям» нашим, коих строгие лики в киотах вам не нравятся, а мы молимся на них, как они молились апостолам, а апостолы Христу. Наш круг замкнут. Вам не войти в него. Круг наш целостен. И вашей ли силе одолеть его?»

Дети у Повало-Швейковского еще маленькие. Как-то я наблюдал сцену: бонна, чтобы пригрозить напроказничавшим детям, сказала сурово за столом, что она просит расчета и уйдет, а к детям пусть возьмут другую бонну, которая будет давать им шлепки. Все детские лица миглом изменились, заговорив разными глазами разное. Однако все были испуганы и опечалены, а одно, ухватившись за платье бонны, горько-горько заплакало. И столько было в любви этой — детской красоты, что, право, можно, увидев один такой эпизод, научиться многому. Увы, такие эпизоды, ежедневные в семейном доме, просто невидимы, неосвязаемы и неизвестны аскетам; и если вышло распоряжение о Повало-Швейковских, то ведь нельзя же забывать, что оно вышло от людей, для которых «расторжение брака» приблизительно так же отвлеченно, бесстрастно и бескровно, как для нас всех извлечение квадратного корня. Но только оговоримся: это

принципально; отвлеченно оно для них — по воспитанию, а уже воспитание — от отцов, учителей и т. д. до фундамента. Греха личного тут нет, и мы исследуем изъян, пропасть, небытие в церкви. Но вот этот квадратный корень извлечен, и мы входим или в окно подсматриваем семью Повало-Швейковского. Также в этот вечер она чувствует необходимость покориться приговору церковному, как в другую темную ночь косая баба неодолимо чувствовала, что ей невозможно «посмотреть прямо в глаза свету» с ребенком на руках от деревенского паренька.

«Милая фрейлен, не уходите, мы исправимся», — молили дети. «Папа и мама, не уходите же: мы исправимся», — говорят у Повало-Швейковских ничего не понимающие дети, видя только, что куда-то родители собрались от них, собрались... назавтра покинуть их! Нет покаяния. Тут мы только мимоходом упомянем об огромном вопросе еще — чистосердечия, в другом таинстве — в покаянии. Ведь Повало-Швейковские — и отец, и мать — верно, покаялись на исповеди священнику, что вот «состояв», положим, «в таком-то свойстве — пожалайсь»; и священник им отпустил грех. Воспомним, что даже Давида и Вирсавию не разлучил, не приказал им разойтись пророк Нафан; пример решающий для определения незаконности всех и всяких расторжений брака. Но Библия, как я всюду оговаривался, нами вовсе забыта. Повало-Швейковские покаялись, и священник им отпустил вину, и без сомнения именем и властью церкви, как ее член и выразитель. Но странно: это прощение и снятие вины в уголке не совпадает с прощением вслух и, так сказать, *ecclesiae universalis* [2 - единая церковь (лат.)]. Тут то же, что в браке: одно — в укромной молитве, и совершенно другое — вслух. *Ecclesia universalis* Повало-Швейковских, мужа и жену, оказывается, вовсе не простила, как это сделал священник во время исповеди; она их судит, рассудила, вынесла страшный для детей и родителей приговор: и детский вопль отскакивает от стены церковной: приблизительно как резонанс подобного же крика, конечно, отскочил бы от черной колоды эшафота, на котором расправляются с «папашей». Вернемся же к родителям, о которых так хорошо говорил о. Нахимов, что они в случае настоящего брака должны «обожать» и даже, наконец, несколько «обожить» друг друга. Повало-Швейковские, дошедшие до царя, очевидно, были именно таковы. Мы приведем и разъяснение. Пять детей живы, один умер, другого же едва выхватили из смерти. Какие тревоги. И печальные хождения родителей на могилу уже умершего. Печальные воспоминания бывших и оборвавшихся надежд около его маленькой постельки. Но квадратный корень извлекается. И вот городской секретарь, открывая ненароком Библию, наталкивается на слова «раба Божия Моисея», как называется законодатель в Апокалипсисе, и читает его слова к Богу, грозящему истребить всех израильтян, плясавших перед золотым тельцом, оставив одного Моисея и от него обещаая произвести новый народ себе. Моисей не сказал, угодливо сливаясь с решением Божиим: «да, Боже, они оскорбили Тебя отступничеством: поступи с ними по вине их, а из меня изведи новый народ».

Чувствуете ли вы, братья и христиане, что скажи так Моисей, — и он вмиг провалился бы и с законодательством, и с богоугодностью своей, как булыжник в пропасть. Но Моисей был Моисей. Только что видев «лицом к лицу» (выражение Библии) Бога, он начал уклоняться от Него, отступать от Него: «Господи, если ты хочешь уничтожить народ мой, то изжени также и меня с ним из книги живота».

Повало-Швейковский — как обжегся бы этим словом! Самый «случай», что ему открылись бы при чтении Библии именно эти строки, показался бы ему по русскому, да, пожалуй, и мировому суевию знаменательным, провиденциальным. «Рука Божия указывает, что делать?» Позвольте, ведь и Ньютон много раз видел падающие яблоки, но задумался особенным образом над этим падением один раз, и с большим результатом. Не так же ли бы получил повод совсем новым оком посмотреть на этот, нам всем знакомый текст, и Повало-Швейковский? Отказ Моисея, во-1-х от пророчества своего, во-2-х от законодательства своего, во-3-х от самого боговидения ради рода своего, родных себе, народа своего — для Повало-Швейковского переводится в бурный протест и отказ в повиновении Церкви; также ради близких своих, родных себе, пусть и виновных, однако же менее, чем пляска перед золотым тельцом. Правда в зерне и солнце — одна; церковь, почувствовав, что падает от толчка маленького, ею задавленного человечка, обернулась бы и нашла за собою Христа: «Вот — Он сказал, что надо оставить отца и мать и детей». Но и Повало-Швейковский, чтобы не быть окончательно раздавленным, сказал бы: «Что, что Христос; Он возрадуется, если я отрекнусь от Него, ради рода своего: как и Отец Его — когда Моисей отрекся от Него ради своего рода. Ибо Отец и Сын ведь одно — единомышленны и единозаконодательны?» Мы заметили, что едва Моисей ответил бы Богу: «Хорошо, истреби народ грешный, а меня праведного оставь», — так он и провалился бы с высоты Синая в выгребную яму Плюшкина и разбит был бы самим Богом о камень, на котором только что стоял телец. А Повало-Швейковский, нам думается, едва послушавшись церкви, на самом деле женился бы на другой, а жена его вышла бы за другого, и оба они забыли бы про своих прежних детей и начали думать о новых, — как и потряс бы основные аксиомы нравственности, уж не знаю, «христианской» ли, мировой ли, но как-то теплой человечеству, без которых человечеству было бы страшно жить, нельзя бы прожить; ей-ей — не стоило бы жить! Христианство ли несовместимо с нравственностью? Выходит; вот вышло! Церковь ли против любви? Да, да: ведь вышло же, конкретно, наглядно! Христос ли повелел покидать сырых, страдающих, немощных, «не умеющих назвать правой и левой руки» (дети Повало-Швейковского)? Но именно на заповеди Его церковь и основала свое решение. И, главное, — все это было, уже совершилось. Повало-Швейковские разошлись. Было, былая история: и ведь нельзя же выкопать из земли убитых и сказать: «Оживите». Может быть, церковь скажет? Христос скажет? Ну, пусть скажут: но чтобы реально, сейчас, Ваня Повало-Швейковский, Лиза Повало-Швейковская, и еще пятеро, и отец, и мать. И пережили бы вторично и радостно и беззаботно, «как птички», грустную свою биографию. Успокойтесь: никто и ничего им не скажет. Не беспокоятся. Ведь не было же до сих пор беспокойства, ни вопроса, ни недоумения. «И дам тебе всю славу мира, если, падши, — поклонись мне». В «Чтениях о богочеловечестве» Влад. Соловьева как-то мешаются, заслоняя друг друга и как бы «воплощаясь» друг в друге, Христос и человечество: и вот не могу же я не вспомнить, или мог бы вспомнить Повало-Швейковский, что «слава мира» за что-то в самом деле легла у ног церкви и уж конечно у «Главы ее» и одела сверкающею красотою, неслыханным дотоле величием плечи ее, рамена ее, руки ее, чело ее: и виссоны, и шелк, и золото, и камни в венцах, скипетрах, и поклонение мудрости, королей, поэтов. Как даже и не зрелось этого никогда от создания мира. «У тебя — все, у меня — ничего, — думает Повало-Швейковский, — только куча детей да их прокормление. Мать святая Церковь: столько царств в деснице твоей: зачем тебе и мы, семеро, с нашей убогой верой, убогими думами, безвидной судьбой. Тебе поклоняются короли, а наше поклонение — для чего тебе оно? Соломина на возу. Позволь нам лучше, раз уже нельзя быть в тебе и не слушаться тебя, т. е. принципиально нельзя, в вековечной истине всякого пребывания в чем-нибудь и согласия с этим, в чем пребываешь — оставить притворы твои, чертоги твои, ризы, богатство, власть, славу. Вне тебя, под звездами, солнцем, небом, дождем, вьюгами — «стихиями», которые почитал в младенчестве своем человек, — мы не разорванные, и не уничтоженные, и не израненные дети и родители, ласкаемся, любим, одно, целое. В тебе этого нельзя: останься с богатством твоим и оставь нас с бедностью нашею».

Вся паутина христианства разрывается, все золотые ее слова, за которыми бежит толпа вот уже 2000 лет, как голодные овцы за кормом, — обнаруживают мифичность свою. Проверку, на единичном случае, реализма этих золотых слов я и сравниваю как бы с открытием закона тяготения по единичному падению яблока на землю.

Но мне хочется конкретнее, кровнее и личнее дать почувствовать силу вопроса присутствующим здесь духовным лицам.

1. Прежде всего, я спрошу их: должен ли Повало-Швейковский в самом деле: а) бросить детей и жену и б) почувствовав себя свободным, жениться на другой? Т. е. серьезно поверить определению церкви о недействительности своего брака и исполнить ее приказания? Прошу ответить присутствующих здесь священников простым и кратким «да» или «нет», вспомнив Моисея, а с другой стороны, помня глагол учителя церкви Григория Богослова, молившегося так: «Да разрушит Бог всякий супружеский союз, не скрепленный благословением церкви». Ведь, конечно, после выхода решения Синода «благословение» церкви снималось с брака Повало-Швейковского; и, следовательно, Григорий Богослов прямо молился о разрушении этой семьи.

Думаю, что духовенство скажет: «Нет, не должен был послушаться. Оставляя жену и детей, плачущих, слабых, любящих и любимых, — это беззаконие». Если же они беззаконием этого не назовут, не ответят «да», то я, — да, надеюсь, и все собрание наше, — нравственно разоидемся с духовенством и станем на сторону Повало-Швейковского, кивнув речи его, в которой он отрекается от церкви, предпочитая остаться с детьми. Мы ему кивнем, да и весь мир ему кивнет, т. е. отречется же от церкви. Это-то и важно; тут-то и начало «Ньютонова закона» в христианстве, что уже не идейно, не философски, не на почве вольномыслия и либерализма, но на почве семейного чувства, во-первых, а во-вторых, сострадания к слабым, т. е. именно сердечно и нравственно обыкновенные люди, но все и согласно начнут расходиться с духовенством — выразителем церкви и церковью — выразителем христианства. Простые люди окажутся любящими сирот, а духовенство и церковь — не любящими.

Если бы спросить Синод того времени, как же он постановил такое решение, которое нравственным своим уровнем стоит не выше, а ниже обыкновенного человеческого суждения, не погрешает ли он тут лично, то, подумав кратко, он ответил бы in plene.

2. «Ничуть. Христианство может давать необыкновенные, страшные на вид решения, ибо оно и определено как «юрродство миру», как «иудеям соблазн, а эллинам безумие». Поэтому кажущееся страшным в христианстве еще не есть неистинное в его собственных и особенных принципах. Что же касается до случая Повало-Швейковского и о несострадании к нему, то мы имеем прямое слово Божие, также пунктуально его покрывающее, как и слово Моисея: «Если кто не возненавидит отца своего и мать свою, и детей своих, и жену свою, тот не может быть моим учеником». Повало-Швейковскому остается выбрать: или остаться с церковью, послушав ее, или быть выброшенным из церкви, отказавшись от послушания. В первом случае он будет спасен в жизни здешней и будущей, в последнем случае он будет осужден в жизни земной и небесной».

Но вот тут-то и начинается буря: жестокостью ли мы спасаемся? Холодностью ли сердца снискивается царство небесное? И вообще оставлением ли человека, да еще невинного, пусть и грешного, пусть и слабого? Вопрос открыт; пусть г. Новоселов, сладко глаголавший нам, как он «спасается», погруженный в думы над тарелкою супа, пусть он, оставив субъективные мечтания, оглянется на действительность, не на жизнь души, такой ненаглядной, а на жизнь других людей, и поведает нам вторично здесь о так называемом «пути христианского спасения». Одно яблоко, — пусть только один Повало-Швейковский, — докатилось до черты этого круга «христианского спасения» и остановилось на черте его: «не могу переступить ее! нет сил! страшно, холодно!!»

Дверь открыта. Пусть всходят на кафедру и обсуждают эту тему другие, не выпуская из виду, что ведь религия — универс, что она — абсолют и что если в мире хотя есть один случай, когда человек по нравственным мотивам не может войти в такой-то круг религиозного спасения, то, значит, круг этот вообще не универсален и не абсолютен, т. е. что он просто не религиозен; или, возводя к философским понятиям, феноменален, а не ноуменален; не божествен, а представляет только историческое явление.

Помните аналогию: электричество раньше знали только в маленьких кусочках янтаря, а потом оно оказалось разлитым во всем мире. Яблоко мало, но его роняет на землю планетное тяготение. Истина не допускает из себя исключений, и вот отчего случай Повало-Швейковского не «случай», но начало подозрений, но начало исследований корневых, бесконечных, внимательных и многолетних. Заметьте, что ведь и ереси казнились, потому что они были «ересь», т. е. что-то «худое»; и Повало-Швейковский погиб, ибо и он оказался как бы «еретиком в браке», «еретичествующим в рождении», т. е. что он погиб не случайно, а принципиально же. А, признав истину в его гибели, отдаленно мы признаем и принципиальную истину в гибели еретиков. Мы загремим еще тихо, но великими громами. Мы поймем древние громы, поверьте, звучавшие не в худшее время, чем наше, не в менее религиозное. Подозревайте, господа, исследуйте, господа. Тут начало, так сказать, «конических сечений в христианстве», тогда как мы прежде занимались лишь прямою и кругом, слишком простыми и ясными истинами. Я желал бы, чтобы на тему эту сказал свое слово г. Меньшиков, исходящий из сладкой, но, я думаю, детской тезы: «христианство есть любовь». «Христос заповедал нам любовь». Нет. Он заповедал и другое многое, и Евангелие не насчитывало бы в себе все же сотни страниц, если бы оно укладывалось в эту одну строчку; что-то и другое, кроме «любите ближних своих», надо было утвердить Христу. Конечно, сладко плыть в розовом сиропе веры: «Евреи были злы до Христа и при Христе; Он им заповедал любовь; тогда они до того остервенелись на Него, что убили Его, с какого времени и произошло разделение на христиан, которые любят друг друга, и на евреев, еретиков и язычников, которые друг друга ненавидят».

**1903**

Примечания

1 единое целое (лат.).

2 единая церковь (лат.).